

Book: Исповедь

Бакунин Михаил
Исповедь

Михаил Бакунин

"Исповедь"

Предисловие

Исповедь

Комментарии

Предисловие

Вскоре после ареста Бакунина в Саксонии начальник австрийских войск в Кракове в июне 1849 года сообщил об этом событии русскому майору, исполнявшему обязанности краковского коменданта, на предмет выдачи Бакунина России.

Но сразу получить Бакунина в свои руки царскому правительству не удалось, несмотря на все его нетерпение и хлопоты. Узнав о предстоящей выдаче Бакунина австрийцам, граф Медем, тогдашний российский посланник в Везде, поспешил переговорить с австрийским премьером кн. Шварценбергом, который обещал по миновании надобности австрийского правительства в Бакунине передать узника России. Условлено было, что Бакунин будет доставлен в Краков и здесь передан русским жандармам. Рассчитывая заполучить Бакунина в свои руки еще весною 1851 г., российские власти в Польше уже в марте направили в Краков жандармский конвой для приемки арестанта и доставления его в уготованное ему место злачное. В души российских жандармов начало даже закрадываться подозрение, что австрийцы вовсе не собираются выдавать им Бакунина. Но страхи эти оказались напрасными.

Бакунин чувствовал, что австрийцы собираются выдать его России. Эта перспектива приводила его в ужас: ее он боялся больше всего, больше смерти. Выражая такое опасение в письме к австрийскому министру внутренних дел Баху, он присовокуплял, что будет всяческими мерами вплоть до самоубийства противиться

выполнению этого замысла. Но австрийские власти очень мало считались с такими заявлениями. Они заранее приняли все меры к тому, чтобы немедленно после приговора заключенный был направлен по назначению.

15 мая 1851 года Бакунин был приговорен к смертной казни австрийским военным судом, вечером того же дня он был вывезен из Ольмюца в Краков, куда доставлен вечером 16-го; 17-го был передан русским жандармам на границе, а 11 /23 мая, т. е. через 8 дней после вынесения ему приговора, сидел уже в 5-й камере Алексеевского рavelина Петропавловской крепости. На докладе Дубельта об этом событии Николай написал:

"Наконец!". А после полуторамесячной передышки, находя, что узник достаточно оглушен долгим пребыванием в глухом каземате, Николай 25 июня 1851 года приказал приступить к допросу Бакунина.

Подробности и форма этого допроса в точности нам до сих пор не известны. Возможно, что устных формальных допросов не было; но что узнику были поставлены (в письменной форме или иначе) какие-то определенные вопросы, на которые он должен был дать ответ, это весьма вероятно, судя по содержанию "Исповеди" и по ряду оборотов в отдельных местах, которые мы ниже будем специально отмечать. Сопоставляя эти места, можно даже составить себе довольно ясное представление о содержании и характере тех вопросов, которые по приказу Николая были заданы жандармами Бакунину. Дальше мы приблизительно наметим вероятный перечень этих вопросов.

Происхождение этого замечательного исторического документа, известного под названием "Исповеди", хотя на самом деле не имеющего никакого заголовка, было примерно таково.

Как рассказывает сам Бакунин в письме к Герцену от 8 декабря 1860г. месяца через два по его прибытии в Россию, т. е. в первой половине июля 1851 г., к нему в камеру явился граф Орлов (позже князь, Алексей Федорович, в рассматриваемое время шеф жандармов) и от имени царя потребовал от него составления записки о немецком и славянском движении, причем пояснил, что царь желает, чтобы Бакунин говорил с ним как духовный сын с духовным отцом, т. е. исповедывался, рассказывал все без утайки, дал то, что на языке жандармов называлось "откровенным" и "чистосердечным" показанием.

Что Бакунин, вообще крайне неточный в этом письме, где он единственный раз упоминает об "Исповеди", неточен и в данном случае, и что царь добивался от него не только академического рассказа о немецком и славянском движении, видно и из самого содержания "Исповеди". Это в частности показывает тот предполагаемый вопросник, который мы попытаемся набросать на основании текста этого документа. Николая I больше всего интересовал вопрос о русском революционном движении, о замыслах и связях Бакунина, о наличии в стране опасных элементов и т. п., и в первую голову он хотел получить от своего пленника ответ на эти вопросы. Отсюда и требование полной откровенности: ведь не мог же царь подозревать, чтобы Бакунин стал скрывать что-либо существенное из области немецкого или славянского движения.

Вот насчет русского дело обстояло иначе. И в этом отношении Бакунин разочаровал своего духовника: последний ничего важного от него не узнал. Правда, что ничего особенно важного и не было.

Подумав немного, Бакунин решил, что при условиях несколько свободной жизни следовало бы выдержать

роль до конца, т. е. не вступать ни в какие компромиссы с врагом, но что в четырех стенах, находясь во власти жестокого деспота, не признающего никаких человеческих прав, можно слегка пренебречь формой, проще сказать - подурочить врага, а потому согласился и в течение месяца написал "в самом деле род исповеди, нечто вроде *"Dichtung und Wahrheit"* ("Вымысел и правда", как озаглавлена автобиография Гете), в которой осторожно, но вразумительно заявил царю, что ждать от него предательства не приходится и что имен называть он не станет.

Далее по словам Бакунина он с некоторыми умолчаниями рассказал Николаю всю свою жизнь за границу, прибавив несколько поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики. Нужно сказать, что при своем положении Бакунин проявил большую смелость, разоблачая перед злобным тираном сущность самодержавной политики, восхваляя парижских революционных пролетариев и т. п. Однако "Исповедь" носит я общем покаянный характер и своим уничиженным тоном перед царем производит неприятное впечатление.

Об "Исповеди" создалась целая литература. Главный спор вертелся вокруг вопроса об искренности "покаяния" Бакунина перед царем. Но с тех пор, как стали известны письма Бакунина из крепости, тайком переданные им в 1854 году своим родным на свидании, для сомнений больше не остается места: Бакунин притворялся, для того чтобы обмануть своих врагов и скорее выйти на свободу с целью снова приняться за революционную деятельность. Допустим ли и в таком случае тот образ действий, какой избрал Бакунин для достижения своей цели, это-другой вопрос, который Вера Фигнер например решает в отрицательном смысле (впрочем для всякого, действительно знающего историю Бакунина, и без этих тюремных писем было ясно, что об искреннем "раскаянии" Бакунина не приходится и говорить, и что если не во всех деталях, то в основном "Исповедь" была образцом притворства, преследовавшего вполне определенную цель).

Оригинал "Исповеди" хранится в Архиве революции в Москве, где имеется и каллиграфическая копия ее, сделанная специально для царя, который не хотел утруждать глаз чтением мелкого и неправильного почерка Бакунина. Рукопись содержит 96 страниц большого писчего формата, исписана с обеих сторон характерным убористым почерком Бакунина и составляет не менее 6 печатных листов по 40000 знаков каждый. Для царя был жандармскими писарями переписан специальный экземпляр "Исповеди", который, как видно из пометки Дубельта, был представлен ему 13 августа. Таким образом довольно точно определяется время составления этого исторического документа: между 25 июня, когда Николай велел Бакунина допросить, и между 13 августа или точнее 10 августа (предполагая, что на доставку и переписку рукописи потребовалось 2-3 дня). Так как по словам Бакунина Орлов посетил его через два месяца по привозе его в Петербург, т. е. в первую декаду июля, то и выходит, что Бакунин в общем выдержал выговоренный себе месячный срок, и документ был написан примерно между 10 июля и 10 августа 1851 года.

Николай по-видимому читал рукопись довольно внимательно. Об этом свидетельствует множество пометок, которыми испещрен переписанный для него экземпляр. Все эти пометки мы здесь воспроизводим,

стараясь по мере возможности точно соблюсти их место и характер. Эти пометки показывают, что несмотря на удовольствие, доставленное ему покаянным тоном Бакунина и бичеванием "гнилого" Запада, исповедь его не удовлетворила, ибо не дала ему того главного, чего он от нее ожидал, т. е. выдачи имен и фактов, относящихся к русскому оппозиционному движению. После прочтения ее царем она была дана для прочтения во первых наследнику, будущему Александру II (для которого Николай сделал в начале рукописи надпись: "стоит тебе прочесть: весьма любопытно и поучительно"), и во вторых послана для ознакомления наместнику Царства Польского Паскевичу, провидимому для надлежащего использования сообщаемых Бакуниным материалов о польском революционном движении (хотя вследствие сдержанности Бакунина жандармы в этом отношении особенно поживиться не могли).

Последняя надпись царя на рукописи гласит: "На свидание с отцом и сестрой согласен, в присутствии г. Набокова" (коменданта Петропавловской крепости).

Рукопись давалась для прочтения и некоторым другим лицам, которым Николай I мог вполне доверять. Что ее читал и шеф жандармов Орлов и его верный помощник Л. Дубельт, в этом не может быть сомнения. По приказу Николая Орлов давал ее для прочтения и князю А. И. Чернышеву, занимавшему в то время пост председателя Государственного Совета. В ответном письме его Орлову содержится фраза ("мне кажется, что... было бы весьма опасно предоставлять неограниченную свободу" Бакунину), наводящая на предположение, что-Николай запрашивал своих верных слуг, как по их мнению следует поступить с узником.

"Исповедь" публиковалась целиком дважды: в 1921 году Госиздатом в крайне небрежном виде и через два года в первом томе "Материалов для биографии Бакунина" под ред. В. Полонского тоже с ошибками, из коих некоторые довольно грубые. В настоящем издании мы постарались дать точный текст этого документа, но только в современной транскрипции.

Наш текст отличается от текста оригинала в следующих пунктах.

1. Оригинал естественно написан по старой орфографии и старым алфавитом, наш текст-по новому сокращенному алфавиту и согласно новому правописанию.

2. Иностранные имена, названия и т. п. часто пишутся у Бакунина на иностранных языках; мы пишем их в большинстве случаев по-русски.

3. Неправильное или несвойственное установившимся в нашей литературе образцам начертание многих иностранных имен, названий и терминов у Бакунина вроде Кос[с]ут вместо Кошут, Тьерс вместо Тьер, мажиары вместо мадьяры, демократия вместо демократия и т. п. у нас исправлено согласно выработавшейся у нас традиции.

4. Неправильное или несвойственное нашему времени написание Бакуниным некоторых русских слов вроде интригант вместо интриган, участвовать вместо участвовать и т. д. нами устранено.

5. Обращения к царю, слова "государь", "величество" и т. п., которые в оригинале согласно обычаям

самодержавной России писались прописным" буквами, у нас пишутся просто строчными.

Таким образом те изменения, которые мы в настоящем издании ввели в бакунинский текст, носят характер чисто внешних исправлений и ни в чем не меняют содержания или смысла оригинального текста.

Немецкий перевод "Исповеди" вышел под редакцией Курта Керстена в Берлине в 1926 году с несколькими интересными приложениями документов, взятых из архивов (наиболее важные из них мы используем в настоящем издании). Так как автор в качестве оригинала пользовался текстом, напечатанным в первом томе "Материалов" В. Полонского, то он повторяет все ошибки последнего: пояснительные добавления редактора для немецкого издания бедноваты и недостаточны.

Приводим некоторые работы относительно "Исповеди": Л. Ильинский- "Новые материалы о Бакунине" ("Голос Минувшего" 1920-1921);

И. Гроссман-Рощин- "Сумерки великой души" ("Печать и Революция" 1921, No 3); Б. Козьмин-"Исповедь М. А. Бакунина" ("Вестник Труда" 1921, No 9); А. Корнилов-"Еще о Бакунине и его исповеди Николаю" ("Вестник Литературы" 1921, No 12); В. Н. Фигнер - "Исповедь М. А. Бакунина" (бюллетень книжного магазина "Задруга" 1921, No 1, декабрь, и в дополненном виде "Сочинения", т. V, стр. 369-373);

М. Неттлау-"Исповедь Бакунина" ("Почин" 1922, NoNo 8-9); А. Боровой и Н. Отверженный-"Миф о Бакунине", Москва, 1925, изд. "Голос Труда"; см. кроме того общие сочинения о Бакунине.

Прежде чем перейти к рассмотрению отзывов об "Исповеди" Бакунина, скажем несколько слов о заметке на эту тему старого сотрудника Бакунина, впрочем разошедшегося с ним уже в 1874 г., именно о статейке М. П. Сажина "Исповедь М. А. Бакунина", помещенной в сборнике "Unser Bakunin", выпущенном издательством "Синдикалист" в Берлине в 1926 году. Здесь Сажин сообщает умопомрачительную новость. Если верить ему, Бакунин за границей полностью рассказал ему обо всех обстоятельствах, сопровождавших его освобождение из крепости. "Действительно,-пишет Сажин в 1926 году,-когда я позже (1920 года - Ю. С.) в Москве прочел написанный Бакуниным оригинал, я убедился, что он в своем рассказе ни о чем не умолчал и все подробно передал, в том числе и письмо к Александру II". А Неттлау прибавляет во избежание недоразумения в прямых скобках: "1857", т. е. покаянное прошение Бакунина.

Надо сказать, что еще до того Сажин в личной беседе сообщил В. Полонскому, что Бакунин рассказал ему полное содержание "Исповеди". И. В. Полонский, принимая на веру это сообщение, наивно прибавляет: "Сажин был вероятно единственным человеком, заслужившие такое доверие Бакунина". Но даже этому доверчивому историку Сажин не говорил, что Бакунин признался ему в подаче покаянного прошения царю. Мне, который часто вел с ним беседы о Бакунине, Сажин ничего подобного не говорил, не говорил и о полной передаче ему Бакуниным содержания "Исповеди".

Бакунин всю жизнь скрывал отрицательные стороны "Исповеди" (не говоря уже о покаянных прошениях) даже от таких старых и интимных друзей, как Герцен и Огарев. Кто поверит, чтобы он стал откровенничать на эту тему с молодыми людьми, вовлеченными им в революционную работу и способными на такую

откровенность учителя реагировать в совершенно нежелательной форме? Во всяком случае в русской печати, несмотря на появление ряда отрицательных отзывов об "Исповеди", принадлежащих людям самых различных направлений, в том числе столь высоко стоящим, как В. Фигнер, Сажин не считал нужным поведать о таком сногшибательном факте, как небывалая откровенность с ним Бакунина, сознавшегося ему якобы в подаче покаянного прошения о помиловании. И надо полагать, что не заикался он об этих вещах в русской печати потому, что был бы немедленно опровергнут.

А в немецком сборнике, предназначенном для заранее убежденных анархистов, можно было рассказывать такие сказки: во первых там самых элементарных фактов не знают (а кто знает, вроде М. Неттлау, тот спорить не станет!), а во-вторых будут поддерживать эти рассказы из политических целей, дабы не допустить в лице Бакунина умаления анархистской традиции и анархистской легенды. Вероятно именно по таким политическим мотивам Сажин и пустил в ход этот рассказ в немецком анархистском сборнике. Ибо хотя мы знаем, что особой точностью насчет фактов Сажин никогда не отличался ни в молодости, ни тем паче в старости, мы все же не думаем, чтобы в такую грубую фактическую ошибку он мог впасть вследствие запямятования, а полагаем, что он сочинил это неправдоподобное сообщение для защиты памяти Бакунина. Но точная история не может считаться с выдумками, даже если они подсказаны самими "похвальными" субъективными намерениями.

В той же заметке Сажин делает другое сообщение, которое мы регистрируем, не будучи и здесь уверены в его точности. А именно он сообщает, что в России Бакунину был оказан человеческий прием. Рассказав о грубом обращении с Бакуниным австрийских жандармов, Сажин якобы со слов Бакунина продолжает: "При передаче на русской границе все обращение с ним сразу изменилось: русский жандармский офицер немедленно приказал снять с него цепи, хорошо накормил его, относились к нему предупредительно... то же самое имело место в Петербурге, в Алексеевском равелине". Тогда мол у Бакунина и появилась мысль, что Николай не станет обходиться с ним особенно жестоко, и у него явилась надежда на скорое освобождение; так возникла первоначальная идея "Исповеди", которую Сажин рассматривает как попытку обмануть царя и вырваться на волю для продолжения революционной работы.

Переходим теперь к другим отзывам об "Исповеди".

Первой заметкой об "Исповеди" была статейка некоего профессора

Л. Ильинского "Исповедь М. А. Бакунина", напечатанная в № 10 "Вестника Литературы" за 1919 год. Содержание ее примерно такое же как и содержание его же статьи, помещенной в 1921 году в журнале "Голос Минувшего" (о ней см. ниже).

Автор пишет, что ему "при разборе архива 3-го Отделения удалось найти этот ценный документ"; ему также удалось "заручиться и некоторыми другими документами" (при чем некоторые из них, как письмо Бакунина к царю от 1857 года, он пытался даже присвоить, так что позже его пришлось у него отнимать мерами административными). Заметка в свое время имела некоторое значение в том отношении, что в ней впервые опубликованы были отрывки из "Исповеди". В этом смысле она встретила отголосок и в иностранной

прессе, в частности послужила материалом для статьи Виктора Сержа в берлинском "Форуме" и дала толчок возникшей в связи с нею полемике.

Особенно конечно поражали те выдержки из "Исповеди", которые были написаны в "верноподданническом" духе и тоне. По поводу этого усвоенного Бакуниным тона Ильинский говорил: "Мысль, что он пишет царю, не оставляет его, и письменный ритуал почтения выдерживается строго. Это пишет Бакунин-верноподданный, каясь во всем своем прошлом". Перед Ильинским естественно встает вопрос об искренности этого раскаяния; он дает на него неопределенный ответ, но в общем скорее склоняется к признанию его искренности. "Было ли это искренне,-пишет Ильинский,- или это была уступка ввиду ясности "моего безвыходного положения", сказать трудно на основании одной только этой "Исповеди". Впрочем "впечатление (от знакомства с документами, относящимися к пребыванию Бакунина в крепостях и Сибири) далеко не в пользу Бакунина. Единственное, что может так или иначе смягчить, это - те условия, в которых был Бакунин".

Далее Ильинский отмечает, что оценки; Бакунина и Николая I по ряду вопросов, не касающихся России, совпали: "анархист и монархист во многом сошлись", а именно в отрицательных оценках ряда явлений европейской жизни.

Говоря о других документах, относящихся к подневольной жизни Бакунина, Ильинский замечает: "Его прошение Александру II, его прошение о зачислении в Сибири на службу (?)... и другие его письма из Сибири к официальным лицам-все это говорит далеко не в пользу Бакунина-революционера который после скрывал эти оттенки".

Заметка Ильинского и ознакомление (по его словам) с оригиналом "Исповеди" дали французскому журналисту Виктору Сержу материал для статьи, написанной им в ноябре 1919 года и опубликованной в немецком переводе в берлинском журнале "Форум" (июнь 1921 года, стр. 373-380). Появление этой статьи, из которой европейская читающая публика впервые услыхала об "Исповеди" Бакунина, вызвало настоящую бурю. В то время как марксистские издания перепечатывали ее, используя ее содержание против анархизма, анархистские издания с злобой обрушились на нее и поместили ряд статей в защиту Бакунина и анархизма от невыгодных для последнего толкований его противников. Негодование анархистов против автора статьи было тем более велико, что до Октябрьской революции он под псевдонимом "Кибальчич" выступал в качестве анархиста и борца с его врагами. Ввиду этого Виктор Серж счел нужным напечатать свою статью, по его словам неточно переведенную на немецкий, в точном виде и опубликовать ее под заглавием "La Confession de Bakounine" в No 56 журнала "Bulletin Communiste" от 22 декабря 1921 года с предисловием Б. Суварина, в котором тот рассказал историю появления этой статьи в неверном немецком переводе и брал на себя защиту ее автора от нападок анархистских журналистов.

(Мы должны впрочем признать, что сличение текста обеих статей, немецкой и французской, показывает,

что никаких извращений в немецком переводе не имеется)

В том и другом тексте статьи В. Сержа ничего обидного, во всяком случае нарочито оскорбительного для Бакунина и анархизма как такового, не имеется. Недовольство анархистов было очевидно вызвано самим фактом появления в европейской печати этой публикации, могущей быть использованной в неблагоприятном для анархизма смысле, и действительно имевшими место попытками в таком духе. Как и большинство других лиц, писавших об "Исповеди" Бакунина, особенно до опубликования его писем к родным из крепости, в которых он выражал верность старым убеждениям, Виктор Серж готов верить искренности бакунинских заявлений в "Исповеди"; но в этом пожалуй и заключается весь его грех, который он впрочем разделяет с рядом других анархистов, даже сохранивших свои анархистские взгляды неприкосновенными.

Вот впечатление, вынесенное им из ознакомления с "Исповедью" по тем ее отрывкам, которые появились в заметке Ильинского или о которых он узнал из чтения самой "Исповеди": "Железный человек, непримиримый революционер, бывший в течение нескольких дней диктатором восставшего Дрездена, прикованный затем к стене своей камеры в Ольмюцкой крепости, о голове которого спорили два императора, и который должен был вплоть до последнего дня оставаться инициатором и инспиратором цвета протестантов, духовный отец анархизма повидимому пережил страшный моральный кризис и не вышел из него незадетым. Немногого, быть может, нехватало для того, чтобы дуб был вырван с корнем и пал... Кое-кто - и ведь и теперь, по прошествии 50 лет после его смерти, у него немало врагов - кое-кто станет пожалуй с злорадством говорить о "падении Бакунина".

По поводу слов Бакунина в письме к Герцену о том, что он в "Исповеди" позволил себе "смягчить формы", В. Серж замечает: "Смягчить формы" покажется во всяком случае читателю "Исповеди" и других документов эвфемизмом". Приводя отрицательные и насмешливые отзывы Бакунина о европейских движениях, в которых ему довелось принимать участие и которые затем изображались им как пустые и жалкие, Серж говорит, что "Бакунин" разочаровался не только в себе одном". А по поводу сибирских писем Бакунина Серж, ссылаясь на сообщение читавшего их лица, говорит об их угодливом тоне. Но признавая, что Бакунин "несомненно унижался, проявил слабость", Серж считает нужным подчеркнуть, что во всяком случае он "не предавал", и что "в Исповеди нет ничего унижительного для его духа".

Свою статью Серж заключает указанием на то, что непреклонным борцам, не спускавшим свое знамя до конца и погибшим в тюрьмах, а также тем, кто унаследовал их дух, "Исповедь" Бакунина причинит боль. В тот момент своей жизни Бакунин проявил шатание. Он не оказался "сверхчеловеком". Более энергичный, более порывистый, более пылкий, более проникательный, более изобретательный, чем многие другие, он однако не был человеком непоколебимым. Так или иначе, он господствовал над своим поколением, он господствует и над нашим (писавший эти строки видимо чувствовал себя и в тот момент анархистом.-Ю. С.) , но мы предпочли бы видеть его несгибающимся, дабы впоследствии легенда о нем была более красивой. Ибо он - из тех, кто оставляет по себе легенду. Из недавно открытого нам человеческого документа выясняется, что у него, как и у

других людей, были свои часы провала, и что, более крупный, чем большинство, он был сильнее ими изломан".

Статья В. Сержа дала толчок появлению ряда газетных и журнальных статей, посвященных обсуждению проблемы "Исповеди", а заодно и анархизма. В частности враждебные Бакунину статьи появились в нью-йоркском Call и в некоторых итальянских журналах. Разумеется анархисты не могли оставить этих статей без ответа. Присяжный бакуниновед М. Неттлау поместил в ответ на статью В. Сержа, напечатанную в "Форуме", заметку в "Umanita Nova" (октябрь 1921) и в английском анархистском органе "Freedom" (декабрь 1921).

В полемику вмешались и французские газеты: так известная мадам Северин поместила на эту тему статью в "Journal du Peuple" за 1921 год, а В. Серж отвечал ей в той же газете в ноябре того же года. А после опубликования "Исповеди" по-русски в полном виде М. Неттлау поместил в названном "Freedom" (май 1922) другую статью, которая была переведена на русский язык и напечатана в журнале "Почин" (см. об этой статье дальше).

Еще в 1917 г. Л. Ильинский представил копию "Исповеди" в редакцию "Голоса Минувшего", но кадетская редакции журнала, не желая видимо компрометировать противника марксистов и доставить, как она воображала, радость ненавистным большевикам, не напечатала этого документа, несмотря на его сенсационность. Только после того, как "Исповедь" была опубликована в 1921 г., "Голос Минувшего" поместил ту вводную статью Л. Ильинского "Новые материалы о Бакунине", которою автор думал сопроводить печатание "Исповеди" в названном журнале, и которая представляет распространенный вариант его статьи, появившейся в "Вестнике Литературы" за 1919 год (см. выше). Автор понятия не имеет ни о биографии Бакунина, ни об относящихся к ней самых элементарных фактах. Но это не мешает ему изрекать истины с уверенным видом знатока. Впрочем в самой оценке "Исповеди" он довольно сдержан. Он отмечает те униженные выражения по адресу царя, которые "придают некоторый подбострастный характер записке", но оговаривается, что хотя в этом отношении оправдать Бакунина нельзя, но не приходится говорить и об искренности его в этих выражениях. "В общей массе написанного в "Исповеди" эти места как-то теряются, не влияют на ее общий тон и характер. Все же остается действительно смелая, не без достоинства речь человека, независимого в своем внутреннем мировоззрении!" Здесь Ильинский имеет в виду отказ Бакунина выдать Николаю своих соучастников, чего тот ждал от узника. "Исповедь" Ильинский считает документом искренности-"искренности, не выходящей за пределы возможного для порядочного человека и честного деятеля". Тем не менее "Исповедь" в случае ее огласки способна была скомпрометировать Бакунина:

"такой материал, как "Исповедь" со всеми ее атрибутами, как обращение к государю, хотя бы в приведенных выражениях, письма Бакунина к официальным лицам, иногда с выражениями неуместными для деятеля революции,- все это было прекрасным материалом для дискредитирования личности и деятельности Бакунина, хотя бы даже в той ее части, где он выступает в резкой оппозиции русскому правительству". И дальше Ильинский сообщает о попытке III Отделения в 1863 г. выпустить брошюру "Михаил Бакунин, сам себя изображающий", составленную на основе "Исповеди" и других обращений Бакунина к властям во время его

пленения в России.

Говоря о всеподданнейшем прошении Бакунина от 14 февраля 1857 года, доставившем ему освобождение из Шлиссельбурга, Ильинский, напоминая, что сам Бакунин в своем письме к Герцену об этом прошении умалчивает, прибавляет: "Объяснений, примиряющих в этом отношении нас с Бакуниным, нет. Можно сказать больше. Нет даже обстоятельств, смягчающих его вину". И говоря о дальнейшей его переписке с властями, Ильинский заключает: "Все эти документы являются для Бакунина-революционера уничтожающими. Оторванные от общей его жизни, от оценки их в масштабе всей этой крупной фигуры, они могут создать впечатление какого-то ренегатства или в лучшем смысле сознательной лжи перед властями, так свойственной лицам, спасающим себя, свою шкуру, лжи с нехорошим оттенком умалчивания о ней, подтасовки фактов в сообщениях о своей жизни друзьям... Но такой взгляд, такая оценка возможна лишь при тенденциозности подбора фактов... По вырванным страницам, случайно попавшим в поле зрения, трудно составить впечатление о всей книге. По представленным документам неосторожно было бы судить личность Бакунина. Они вскрывают новую страницу жизни Бакунина, но это-только страница".

Все это писалось до того, как стали известны письма, переданные Бакуниным родным на свидании в крепости в 1854 г. и свидетельствовавшие о верности его старым убеждениям.

А Корнилов в заметке, напечатанной в "Вестнике Литературы", высказывает неизвестно на каком основании - уверенность, что Бакунин рассказал Герцену (как и Сажину) все содержание "Исповеди". "Поэтому о сокрытии перед друзьями не может быть и речи". Переходя к покаянному тону "Исповеди", Корнилов указывает, что этот тон не всегда выдержан.

Но, прибавляет Корнилов, другой тон в рассматриваемом документе был и невозможен: "можно было не писать исповеди или написать так, как она была написана. Другой тон ее в то время был бы немыслим". Под конец Корнилов утверждает, что "документ этот имеет всемирное литературное значение", не поясняя впрочем, что он хочет этим сказать.

В. Полонский, написавший предисловие к изданию "Исповеди" 1921 года, пустил в ход гипотезу, вполне подходящую этому скорее журналисту, чем историку, но к удивлению позже повторенную гораздо более серьезными людьми. А именно, приняв всерьез все выражения и тон "Исповеди", Полонский признал в ней наличие подлинного раскаяния и объяснил его возвращением Бакунина к юношеским взглядам на разумную действительность. "Романтик, не знавший твердо, чего он хочет, положившись на веру и подавив в себе все сомнения, - когда потерпел кораблекрушение, подверг переоценке свои прежние мысли и настроения и отвергнул их как заблуждения своего незрелого ума и чувства... Все грехи и преступления, как называет свою деятельность Бакунин, произошли по его мнению от ложных понятий. Все замыслы его, столь увлекательные в то время, в каменном уединении Петропавловской крепости... стали казаться ему донкихотским безумием .. (В тюрьме он) усомнился в истине многих старых мыслей, т. е. тех, которые казались ему истинными на Западе, и вернулся к мыслям, еще более старым, к мыслям московского периода".

В своем восторге перед внезапно открывшейся ему истиной Полонский доходит до признания искренними комплиментов Бакунина Николаю I: "у нас нет никаких оснований не верить ему, когда он признается царю, будто под пеплом политических страстей в нем сохранилось какое-то особенное чувство к венценосцу Николаю". Еще бы, раз гегелевская разумная действительность, проповедником которой Бакунин был в 30-х годах, снова победоносно овладела его сознанием! "Попав за границу, захваченный всеобщим движением, он признал разумным бунт против действительности, потому что ведь самый бунт - тоже действительность. Но потерпев кораблекрушение, оскорбленный подлым подозрением, своим участием в дрезденском восстании хотевший смыть с себя черное пятно клеветы, он в каменном мешке Петропавловки разочаровался в действительности бунта и под диктовку разочарования пришел к заключению, правда, опять временному, - что и в самом деле все действительное - разумно, что "история имеет свой собственный таинственный ход, что в жизни государств и народов есть много высших условий, законов, не подлежащих обыкновенной мерке", и так далее, словом все то, что читатель прочтет в "Исповеди" и что является чуть ли не повторением мыслей, изложенных в "предисловии" к гимназическим речам Гегеля".

Как увидим ниже, в таком же духе старались объяснить "Исповедь" и некоторые другие писавшие о ней. Всем им пришлось отказаться от этой надуманной, кабинетной гипотезы, как только опубликованы были записки, тайком переданные Бакуниным родным на свидании в феврале 1854 года.

Одного из первых об "Исповеди" высказалась Вера Николаевна Фигнер. Человек совершенно иного морального склада, чем Бакунин, В. Фигнер была потрясена как фактом "Исповеди", так и ее тоном. В этом документе по мнению В. Н. автор его "унижает свое прошлое-революционное прошлое 40-х годов". По видимому имея в виду мнение, высказанное мною в первом издании тома I моей книги о Бакунине, Фигнер не соглашается с ним:

"Иные высказывают мнение, - пишет она, - что "Исповедь" была применением правила "цель оправдывает средства", что Бакунин брал на себя личину; что он притворялся и лгал, чтобы вырваться на свободу и вновь отдаться кипучей революционной борьбе. Но это невероятно, противоречит общему тону рассказа, противоречит содержанию его переписки с родными из Шлиссельбургской крепости, противоречит наконец его поведению и образу жизни в Сибири, где он вызывал недоумение тех, кто хотел видеть в нем непреклонного борца за свободу". И дальше Фигнер склоняется к признанию покаяния Бакунина искренним: "Сомнения нет, - говорит она, - Бакунин в "Исповеди" был искренен... Если Бакунин "Исповеди" далек и совершенно чужд Бакунину, которого мы знаем по последнему десятилетию его жизни, то он родственен и близок Бакунину прямухинского периода, периоду перед отъездом в Берлин в 1840 году, когда он увлекался философией Гегеля, находил все существующее разумным и не только не возмущался "гнусной" русской действительностью эпохи Николая I, но находил ее прекрасной и был патриотом своего царя и отечества... В его психологии обнаружился атавизм, возврат к Бакунину 30-40-х годов". И Фигнер заключает:

"Смотря на дело в этой перспективе, можно понять "Исповедь". Можно сказать, что все мы, как

почитатели, так и хулители Бакунина, создали мечту, иллюзию о цельности его натуры и его жизни, а "Исповедь" разорвала эту иллюзию на-двое. Иллюзия разорвана на-двое, но величаяя фигура Бакунина и любовь к нему остаются. И в этом деле, быть может, всего печальнее, что после "исповеди" перед Николаем I он не сделал исповеди перед своими друзьями и единомышленниками".

Через 4 года Вере Фигнер пришлось отказаться от своей точки зрения. Приведя несколько выдержек из его тайком переданных писем из крепости, в которых выясняется его верность старым революционным убеждениям, Фигнер пишет: "Эти цитаты заставляют думать, что "Исповедь" Николаю I была приложением правила "цель оправдывает средства", но это не может удовлетворить и успокоить потрясенного читателя".

На несколько отличной позиции стоит известный исследователь нашего революционного прошлого Б. П. Козьмин. В своей заметке-рецензии об "Исповеди" он признает покаяние Бакунина непритворным, говоря: "Полонский вполне прав, когда он отвергает мысль о притворстве Бакунина. При чтении "Исповеди" всякие сомнения в искренности ее автора отпадают... Бакунин искренен. Он писал то, что действительно думал, говорил о том, в справедливость чего в то время он верил. Он.... действительно каялся". Но дальше Козьмин отвергает гипотезу Полонского, будто Бакунин в крепости вернулся к оправданию действительности. По мнению самого Козьмина тон "Исповеди" объясняется тем, что Бакунин разочаровался в государственных формах современной ему Западной Европы, а также в революционном движении 1848 года, носившем чисто политический характер. Отсюда его увлечение славянством (но разве оно не присуще было Бакунину раньше?- Ю. С), мысль о революционной диктатуре и надежда склонить Николая I взять на себя эту революционную диктатуру (?) и освобождение славян.

Это разочарование Бакунина началось не в Петропавловской крепости, а гораздо раньше. Это было разочарование не в целях, а в средствах к их достижению. Разочаровавшись в радикальных средствах, в путях бунтовских, "Бакунин столь же искренно и горячо уверовал в... путь демократического цезаризма", а "Исповедь" и была выражением этой новой веры. Правильность такого толкования по мнению Б. Козьмина якобы доказывается содержанием брошюры Бакунина "Народное Дело" 1862 года, в которой допускается примирение революционеров с царем, если он согласится стать царем "земским". А так как в те времена мысль о полной противоположности царизма интересам масс была еще не достаточно ясной, то, по мнению Козьмина Бакунин заслуживает снисхождения.

Далее следует группа отзывов об "Исповеди", принадлежащих писателям, разделяющим анархистское мировоззрение. Эти люди естественно сильнее других почувствовали удар, ставивший под сомнение революционную честь одного из основоположников их партии, а с другой стороны они опасались использования этого неприятного факта противниками анархизма для скомпрометирования последнего. Поэтому они никогда не договаривают до конца, пытаются обходить острые углы и говорить не на тему, а в

сторону от нее и притом выражаться неопределенными фразами, допускающими различное истолкование.

И. Гроссман-Рощин, анархизм которого уже в то время дал изрядную трещину, в заметке "Сумерки великой души" в сущности становится на позицию В. Полонского. "Эта исповедь, - говорит он, - позор и падение, позор великой души, но позор, падение титана, но все-же падение". Но чем же оно объясняется? Психологическим дуализмом Бакунина. не сумевшего довести до конца материалистическое понимание мира, ввести веру и волю в рамки объективного исторического процесса. "Разочаровавшись во всесии духа разрушения, увидавши, что и воля не владыка и, не созидательница "обстоятельств", Бакунин должен был удариться в противоположную крайность и признать всесии лютого врага своего - объективного хода вещей. Смертельно раненый в неравном бою, Бакунин кается и ищет, напряженно, по донкихотски честно, своего врага, чтобы вручить ему жезл и корону и сказал ему: от имени воли и веры заявляю тебе, Демиург истории, перводвижитель мира, первооснова всех вещей, мы побеждены и каемся в грехах наших, в безумии нашем! Реально и конкретно это поражение воли и веры выразилось в этой исповеди, в этом письме к царю". Другими словами Гроссман-Рощин признает искренность разочарования и раскаяния Бакунина. Это еще яснее видно из его дальнейших слов: "Бакунин в один момент своего бытия, ослабленный, одинокий, потерпевший поражение за поражением, усомнился в правде движения, революции и воли, страшной правдой показались ему Покой, Объективный ход истории и Классово-Обломовская покорность. В этот страшный час, в этот тяжкий час на сцену выступил и символ покоя, безволия, покорности ходу вещей, и символом этой духовной Сахары явилось письмо к Николаю I".

Не соглашаясь с тем, что "Исповедь" серьезно роняет Бакунина как революционера, что она разрушила легенду о Бакунине-Прометее, Гроссман-Рощин подчеркивает, что позже Бакунин воскрес и только тогда сделался анархистом.

Характерная анархистская заметка об "Исповеди" появилась без подписи в журнале "Почин" 1921-1922, No 4-5, стр. 14 сл. Несмотря на тенденциозность автора, вдобавок не всегда выражающегося достаточно вразумительно, заметка исходит из правильного отрицания искренности "Исповеди". Автор усматривает в ней "вынужденную неискренность, тактическую ложь по отношению к слепой и грубой силе самодержавия". Аноним (быть может именно потому, что аноним) настолько смел, что отказывается осуждать Бакунина за проявленную им склонность к компромиссу, хотя бы в области форм. По его мнению Бакунину за "Исповедь" "не перед кем каяться: ни перед обществом, к которому он не обращался подобно Белинскому я Некрасову (?), ни перед товарищами, которым он не изменял, к которым он стремился всей душой... Если "Исповедь" Бакунина позорна и унижительна, то не для его мощного исторического облика, а для извращающего начала государственной власти". Далее автор даже высказывает предположение, что нравственный разлад, испытанный Бакуниным при писании "Исповеди" и вследствие принуждения его ко лжи, усилил его отрицательное отношение к государству и толкнул его позже к анархизму. Впрочем приоритет этой оригинальной мысли принадлежит и здесь В. Полонскому, который в цитированном предисловии к "Исповеди" писал: "Можно даже предположить, что необузданность (!) его анархической деятельности питалась

тягостными воспоминаниями о прошлом "падении", которое надо было искупить самой дорогой ценой".

Заметка М. Н е т т л а у, напечатанная в No 8-9 "Почина" за 1921- 1922 гг., стр. 11 сл., представляет перевод его статейки, помещенной в английском анархистском журнале "Freedom" за май 1922 г. Еще до того Неттлау поместил в том же журнале (октябрь 1921 года) статейку в ответ на статью В. Сержа, появившуюся в "Форуме". Текст, напечатанный в "Почине", отличается от текста статьи Неттлау в майском номере "Фри-дома" во-первых тем, что в последней имеется предисловие, которого в "Почине" нет, а во-вторых тем, что в русском переводе опущены некоторые места-не знаем, автором или же редактором русского анархистского журнала. Например там, где Неттлау говорит о национализме, лежащем в основе "ИСПОВЕДИ", у него дальше сказано: "Он и позже не был свободен от этих националистских преувеличений, затушевывавших и сковывавших его более тонкие чувствования, вплоть до 1864 года, и даже после того этот демон дремал в нем, сдерживаемый единственно ободряющим зрелищем международного рабочего движения с -момента его возникновения".

Неттлау находит, что хорошая встреча, оказанная Бакунину в России, предрасположила его к откровенности с царем. С другой стороны эта встреча внушила ему надежду, что он будет жить и когда-нибудь снова добьется свободы. Вот каковы были мотивы, руководившие им в течение дальнейших 10 лет и в частности в то время, когда он писал "Исповедь". Последняя показывает, что Бакунин решил добиться свободы "достойными средствами", отказавшись от предательства, и для одурачения царя прибег к "тонкому приему", выражавшемуся в том, что Бакунин "умалнял свое собственное значение и вместе с тем брал на себя полную ответственность за то, что он делал и когда-либо намеревался делать". "Покорный тон некоторых мест" тоже "не должен шокировать", ибо царь и не стал бы читать документа, написанного в иной форме. "В общем он хотел провести царя видимою искренностью, говоря правду, но далеко не всю правду".

Таким образом Неттлау в общем дает правильную оценку "Исповеди", хотя явно стремится ослабить теневые ее стороны в интересах реабилитации Бакунина.

Можно ли упрекать Бакунина за "Исповедь", спрашивает Неттлау и отвечает: "Я думаю, что он был волен делать то, что он считал лучшим, и что только "елейная прямолинейность" найдет его поступок неправильным".

Переходя к оценке "Исповеди" как документа исторического, Неттлау замечает: "В содержании "Исповеди" не все одинаково ценно в смысле историческом и биографическом". Умалчивания Бакунина показывают, что "он принимал все меры к тому, чтобы не повредить ни лицам, ни идеям",

Неттлау правильно отклоняет попытки большинства анархистов отмахнуться от "Исповеди" указанием на то, что в 1851 году Бакунин не был еще дескать законченным анархистом.

Крупным недостатком "Исповеди" является по словам Неттлау проникающий ее национализм. Упомянув о попытке Бакунина в 1848 г. обратиться с письмом к царю, предлагавшим ему стать во главе славянского движения, Неттлау прибавляет: "Это показывает, куда логически ведет национализм даже лучших людей: он привел Бакунина, по крайней мере по духу и намерениям, в объятия Николая I". А сама "Исповедь" есть

"логический вывод националистического мировоззрения".

В дальнейших компромиссных действиях Бакунина Неттлау обвиняет самодержавный режим, вынуждавший дескать на такие действия. Так ответственность за подачу Бакуниным прошения о помиловании Неттлау возлагает на мелочность Александра II. В общем Неттлау видимо смущен открывшейся картиной и не знает, как выпутаться из создавшегося положения. Свою заметку он заканчивает следующей тирадой: "Быть справедливым и рассуждать на основании серьезных исторических данных (В английском тексте сказано: "proper historic knowledge", т. е. "собственных знаний по истории".) - вот все, что требуется, и тогда также и эта исповедь встретит полное понимание, как человеческий документ действительности и фантазии, смелости и хитрости - порождение их середины (В оригинале сказано: "its milieu", т. е. "его среды".), что и не могло быть иначе".

Раз заговорив о Неттлау, мы приведем здесь и другие известные нам отзывы его об "Исповеди".

В заметке "Жизненное дело Михаила Бакунина", помещенной в выпущенном в Берлине издательством "Синдикалист" в 1926 г. сборничке "Наш Бакунин", М. Неттлау говорит, что "Исповедью" Бакунин "очень ловко сумел отделаться от дальнейшего следствия, правда ценою долголетнего тюремного заключения, подорвавшего его здоровье". И Неттлау прибавляет: "Если бы русские правительства с 1851 по 1917 год могли использовать этот документ против Бакунина, они бы это сделали; одно это должно предохранить от имевшего с 1919 года место злоупотребления этим документом, которое в 1921 году вскоре по опубликовании его прекратилось".

В том же сборнике Неттлау полемизирует с статейкою К. Керстена, переводчика "Исповеди" на немецкий язык, напечатанной в журнальчике "Die neue Bucherschau" 1926 (6 Jahr, 4 Folge, erste Schrift, стр. 8 сл.) под заглавием "Поэт революции". По словам Керстена "хотя эта "Исповедь" представляет автобиографию, но в действительности это-смесь "вымысла и правды", она свидетельствует о фатальной двойственности деклассированного человека. В мировой литературе нет документа, который мог бы сравниться с этим писанием. Ее можно использовать как исторический источник, но с решительным скептическим подходом, ее можно рассматривать как чисто психологический документ-и будешь сбит с толку, можно усмотреть в ней шедевр политической дипломатии революционера и вместе с тем испытывать отрицательное отношение к методам, к которым прибегает этот политический узник". Отмечая, что никогда Николай не слыхал ничего подобного тому, что наговорил ему Бакунин в "Исповеди" о самодержавной системе правления, Керстен указывает, что перехитрить царя Бакунину не удалось, и что тот в раскаяние его правильно не поверил.

Но рукопись "Исповеди" осталась в руках правительства страшным оружием против Бакунина, и мысль о возможности опубликования ее всю жизнь висела кошмаром над ее автором, парализуя его энергию в наиболее решительные минуты.

В этой гипотезе и заключается оригинальная сторона заметки Керстена. Напоминая о том, что в разгар выступлений Бакунина на стороне поляков в 1863 году русское правительство собиралось издать брошюру

Шведа "Михаил Бакунин в собственном изображении", содержащую ряд извлечений из "Исповеди" и других покаянных писаний Бакунина, Керстен именно этим объясняет отъезд Бакунина из Швеции, его разрыв с Герценом (!) и временный отход от революционной работы. "Почему брошюра не была опубликована,-говорит Керстен,-мы не знаем... Твердо установлено только, что Бакунин скоропалительно покидает Швецию, порывает сношения с поляками, вступает в конфликт с Герценом. Все окутано туманом... Не. показали ли ему в Стокгольме рукопись брошюры?" Через семь лет, в разгар революционного брожения во Франции в 1870 г., в котором Бакунин принимает личное участие, снова заговаривают об опубликовании вышеназванной брошюры для морального скомпрометирования Бакунина (на самом деле русское правительство хотело нанести Бакунину удар за его активное участие не в французском движении, а в нечаевском деле). Снова брошюра не публикуется, но снова Бакунин быстро сходит со сцены.

Через два года (на самом деле через 3-4 года) во время итальянских волнений "должен был в третий раз вынырнуть призрак. В третий и в последний раз. Теперь Бакунин окончательно отказывается от всякой революционной работы. Над жизнью его тяготело проклятие".

Против этой гипотезы, свидетельствующей только о плохом знакомстве ее автора с фактами, справедливо возражает Неттлау в своей заметке, напечатанной в упомянутом сборнике и озаглавленной "Бакунин и его "Исповедь".

Возражение Курту Керстену", Неттлау напоминает, что о поездке в Италию Бакунин думал еще в 1862 г., т. е. задолго до того, как в Петербурге решили выпустить против него брошюру; что уехав в октябре 1863 г. из Швеции, он снова приехал туда в 1864 г., что сношения его с поляками прервались по причинам, не имевшим никакого отношения к брошюре, и по столь же не от него зависевшим причинам произошла ссора его с сыном Герцена; словом никаких доказательств связи между действиями Бакунина и подготовлением брошюры не существует.

Второе указание Керстена на французские события столь же неосновательно. Существует масса документов, из которых мы узнаем о планах, настроениях и действиях Бакунина за это время. Никакого отношения к плану русского правительства издать названную брошюру они не имеют, и отъезд Бакунина из Лиона, а позже из Марселя объясняется известными фактами, связанными с ходом событий в этих городах и приводившими к мысли о безнадежности местных восстаний в ближайшее время. Брошюра никакого отношения ко всему этому не имела (да впрочем Керстен, чего не замечает Неттлау, и сам не говорит здесь, что Бакунин узнал о возобновлении намерения русского правительства издать против него брошюру).

Наконец третья ссылка Керстена на итальянские события и отход Бакунина от политической деятельности столь же легковесна. Во-первых два года спустя после отъезда Бакунина из Франции никаких волнений в Италии не было, а вспыхнули они только в 1874 году; далее заявление Бакунина об его уходе в частную жизнь связано вовсе не с мифической брошюрой, о которой в то время русское правительство и не помышляло, а с другими, там великолепно известными мотивами (при том, чего здесь не указывает Неттлау, уход этот был в

значительной мере фиктивным). Действительный отход Бакунина от участия в революционной работе состоялся только в 1874 г., и опять-таки без всякого отношения к брошюре, а вследствие разочарования и личного разрыва с товарищами по Альянсу. И Неттлау справедливо говорит, что оставив почву фактов, Керстен вступил на почву романа. Но дальше он сам сходит со строго фактической почвы, пытаясь доказать, что не Бакунин боялся опубликования "Исповеди", а боялось этого само правительство, опасавшееся, что в случае опубликования брошюры Шведа, Бакунин даст ему такой ответ, который скомпрометирует царизм и разоблачит жестокости, царящие в его застенках. Последнее отчасти верно, но что Бакунину перспектива разоблачения проявленной им слабости не могла быть приятной, в этом тоже сомневаться не приходится, хотя и не следует этого страха преувеличивать: отговориться, в особенности указанием на продолжение им революционной работы, Бакунин всегда сумел бы.

Последний по времени отзыв М. Неттлау об "Исповеди", данный им в книге "Der Anarchismus von Proudhon zu Kropotkin", Берлин 1927, стр. 34, гласит: "Это-в высшей степени сложный документ, с помощью которого Бакунин путем уничтожения своей личности добился своей цели-избавить себя от действительного инквизиторского следствия относительно польских и других дел, что помогло его делу. Под внешней откровенностью скрывается глубочайшая скрытность. Искренен, только националистический тон, так как мы неоднократно снова встречаем его в ряде писем и манускриптов, написанных в обстановке полнейшей свободы. Форму приходилось приспособить к взятой на себя роли, и как бы отталкивающе и тяжело ни действовал на первый взгляд этот документ, тем не менее все выясняется, когда к нему подходишь с знанием относящегося сюда богатого материала" (Кроме названных выше М. Неттлау, насколько мне известно, поместил еще заметки об исповеди в "Freie Arbeitsstimme", "Le Libertaire" и "Roda Fanor" за 1922 и 1925 годы, но нам не удалось их достать. Впрочем вряд-ли они содержат что-либо новое сверх высказанного в рассмотренных выше отзывах М. Неттлау об этом документе.)

В рецензии на "Исповедь", помещенной в журнале "Печать и революция" 1921, книга 3, стр. 202 сл., А. Боровой стоит приблизительно на точке зрения Гроссмана-Рощина. Признавая "Исповедь" человеческим документом колоссального исторического и психологического значения, Боровой в отличие от Неттлау готов признать в ней наличие действительного покаяния, хотя и не в том смысле, какой этому термину придавали жандармы.

Отмечая, что "внешних заявлений раскаяния в "Исповеди"-бесчисленное количество", и что они "производят тяжелое впечатление", Боровой полагает, что "центр ее - не в этих заявлениях,... что они лишь - невольная дань условиям места, в которых находился Бакунин".

По мнению Борового

XML error: > required at line 116

XML error: > required at line 116

XML error: > required at line 116

XML error: > required at line 116

XML error: > required at line 116

XML error: > required at line 116

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Всего проголосовало: **2** Средний рейтинг **7.0** из 5

Оцените эту книгу -

отправить

[правообладателям](#)